

Разбойники пера

Владимир ГРОМОВ



Бубернаусус

БУБЕРНАУСУС

Авторобот: в очках.

Профессия: выдумщик.

Любимое занятие: летать в облаках.

Любимый транспорт: диван, ковёр-самолёт.

Любимый герой: изобретатель колеса.

Близкие родственники: баба Яга, Иван-дурак.

* * *

Однажды Бубернаусус подумал: «Удачу за хвост не поймать, у моря погоды не дожидаться, под лежащий камень вода не течёт, делать ничего не хочется и дальше так жить нельзя. Бубернаусус поймал удачу за хвост, дождался у моря погоды, подвёл под лежащий камень воду – оказалось: и так жить нельзя и делать ничего не хочется.

* * *

«Президентом может быть каждый», – подумал однажды Бубернаусус. Он перенёс телефон на письменный стол, сел в мягкое кресло и стал Президентом. Через минуту телефон зазвонил.

– Президент слушает, – сказал Бубернаусус в трубку.

– Понятно! – послышалось в трубке.

– Выполняйте! – распорядился Бубернаусус и ушёл в отставку: на кухню. Подальше от греха.

* * *

Есть люди, которые про Тутуриху никогда не слышали. И что обитает она на барахолке, им не известно. А Бубернаусус, чтобы сэкономить, идёт на барахолку и встречается с Тутурихой лично.

Потому, что знает места. Места эти везде, где Бубернаусус покупает «почти даром» то, что ему не нужно, и всю дорогу домой чувствует себя счастливым. А дома, разглядев то, что он приобрёл «почти даром» (иногда – это все наличные), Бубернаусус бывает неприятно удивлён. И тогда в нем просыпается «задний ум». То есть то, чем он, как все нормальные люди, несказанно богат. «Интересно, – думает Бубернаусус, – время не жалко и себя не жалко и даже денег не жалко, а чувствуешь себя дураком. Вот, какая она – Тутуриха!»

* * *

Однажды Бубернаусус сидел сиднем, но сомневался: сиднем он сидит или не сиднем? Если сиднем, то почему он не чувствует, что сидит сиднем? Если бы он вдруг почувствовал, что сиднем долго сидеть вредно, а недолго – полезно, или – наоборот, тогда бы он знал, что сидит сиднем во вред себе или на пользу. Но Бубернаусус и тут сомневался. «А может быть, сиднем надо не сидеть, а лежать? – вдруг подумал Бубернаусус. – Или стоять? Или бежать без оглядки?» Но в конце концов он решил, что сиднем можно только сидеть. Но не всегда, не везде и

не всем, а только в нужное время, в нужном месте и – кто сам захочет. Теперь Бубернаусус знал, что он сидит сиднем. Но всё равно сомневался.

* * *

У настольной лампы Бубернаусуса круглая шляпка, поэтому ей нравится прикидываться грибком. Многие любопытные лампы в круглых шляпках прикидываются грибками, но не все любопытны как у Бубернаусуса: у Бубернаусуса лампа любопытна не в меру. Когда Бубернаусус пишет, лампа старается подсмотреть: что он там пишет, если Бубернаусус читает – лампа каждую страничку в книжке внимательно просмотрит. А зачем? – непонятно. Прикинется грибком и подглядывает. Очень любопытная особа – настольная лампа у Бубернаусуса.

* * *

Однажды Бубернаусус посмотрел на полную Луну в полнолуние и подумал: «Почему Луна показывает только одну свою сторону? Что она на другой стороне скрывает?» Что-то, наверно, прячет. Показать не хочет и не показывает: чего, дескать, туда заглядывать? Дескать, верь или не верь, а на другой стороне у меня то же, что и на этой: что сам захочешь, то и увидишь. А на дворе полночь, а я такая молодая, сон у меня крепкий – на каком боку засну, на том и проснусь.

– Ишь ты! – сказал Бубернаусус.

ВОЛКА НОГИ КОРМЯТ (пословица)

«Значит, – подумал однажды Бубернаусус, – у всех ноги, чтобы бегать, прыгать, убежать и догонять, а волка – ноги кормят. Лежит волк в своём логове: тепло, тихо, охотники не тревожат, вдруг говорит ногам: «Что-то я, ноги, проголодался!» Тут ноги подхватывают волка и несут кормить. Принесут, покормят, а домой волк сам бежит. Потому что сытый.

* * *

Однажды Бубернаусус, не подумав, вычеркнул из алфавита букву «а». «Мама мыла раму» написал он без буквы «а». Получилось: «Мм мыл рму». Тогда Бубернаусус написал без буквы «а» «Маша ела кашу». Получилось: «Мш ел кшу» «Чепухкя-то», – подумал Бубернаусус. Он вернул букву «а» в алфавит, но маму, которая мыла раму тогда, когда Маша ела кашу, ему стало жалко: пожилая женщина –

мама – трудится, а молодая цветущая дочь – Маша – ест. Бубернаусус написал: «Маша мыла раму, а мама ела кашу». «Возмутительно! – подумал Бубернаусус. – Взрослый человек ест, а ребёнок за него работает!» Тогда Бубернаусус написал: «Мама и Маша поели каши и пошли мыть раму» «Будут друг дружке мешать и обязательно поссорятся», – решил Бубернаусус и написал: «Мать с дочерью позавтракали овсянкой и пошли мыть рамы». Подумал и добавил: «На субботник!»

* * *

Был у Бубернаусуса Красный Карандаш. Карандаши других цветов у него, конечно, тоже были, и Бубернаусус, когда ему хотелось, рисовал зелёное небо, синее солнце, жёлтые лужи.

А Красным Карандашом он исключительно подчёркивал. Подчёркивал Бубернаусус в толстых книжках мудрые мысли, которые ему никогда не удавалось запомнить, и когда они ему попадались в толстых книжках снова, он снова их старательно подчёркивал и снова забывал. Подчёркивал Бубернаусус прямыми жирными линиями, и Красный Карандаш всякий раз возмущался: ему было перед каждой страницей в книжках нестерпимо стыдно за то, что он вынужден по злой воле Бубернаусуса их бестолково пачкать. Он обзывал тощего Бубернаусуса «Жирным прямолинейно-подчёркнутым Бубернаусусом», и Бубернаусус об этом догадывался, а в минуты глубоких раздумий о жизни с этим соглашался. Однако виду не подавал.

* * *

– А судьи кто?! – воскликнул Бубернаусус возмущённо. – А прокуроры кто?! А адвокаты кто?!!

«Юристы», – подумал он вдруг и успокоился.

* * *

Однажды в семье мелкого чиновника Ерофея Кузьмича Парамонова и домохозяйки Никитишны на приусадебном участке нашёлся в капусте Иван Кузьмич, будущий учёный. Ранее тяжёлое детство Ивана Кузьмича прошло в огороде, и это отразилось на его многочисленных научных открытиях. Иван Кузьмич всю свою долгую тяжёлую научную жизнь честно служил и с благодарностью помнил, и память ему никогда не изменяла. Он помнил даже то, что помнить было необязательно.

В науке Иван Кузьмич оставил неизгладимые следы, но его ученики и последователи их затоптали.

«Вот она – жизнь!», – подумал Бубернаус об учёном.

* * *

Бубернаус, чтобы что-то разглядеть получше, надевает очки. В очках он видит лучше. Попользовавшись очками, Бубернаус их снимает и кладёт на стол. Тогда очки начинают разглядывать Бубернауса. Бубернаус видит в очках лучше, значит, и очки видят Бубернауса лучше. Бубернаусу всегда чуть-чуть не по себе, когда очки лежат на столе и внимательно его разглядывают.

* * *

Бубернаус сел в кресло, закрыл глаза и пошёл туда, где Макар телят не пас. Пришёл, смотрит: берега гранитные, место гористое, а песок с гальками. Так что Макару пасти телят совершенно негде. Тогда Бубернаус пошёл посмотреть: где раки зимуют? Пришёл к речке, нашёл прорубь, заглянул, а там раки зимуют. Глаза выпучили: «Чего притащился, чего зимовать мешаешь?» Тогда Бубернаус пошёл туда, куда сам не знал – почему? Нашёл то, что сам не понял – зачем? Принес, разглядел, а это – «Нечто». Только не настоящее.

* * *

Что любопытной Варваре оторвали нос на базаре, Бубернаус не верил. Но допускал, что посещения базара любопытной Варварой кому-то стали опасны. И этот Некто, чтобы любопытную Варвару запугать, стал распространять слухи, что, дескать, был такой случай, когда любопытную Варвару насильственно лишили носа, и произошло это на базаре, и что злоумышленники на одной любопытной Варваре не остановятся, и всякая любопытная Варвара пусть крепко подумает, прежде чем пойти на базар.

Но любопытную Варвару пустыми слухами не запугать. Только потому, что какие-то прохвосты угрожают ей оторвать нос, любопытная Варвара на базар ходить не перестанет, пока лично не посмотрит этим оборотням в бесстыжие глаза – и фиг с ним, с носом!

И вдруг Бубернаусу вспомнилась Варвара, с которой он когда-то был знаком, была она безнадежно нелюбопытной... Да и не Варварой она была вовсе.

* * *

Бубернаус знал всегда, что существительное «слякоть» – грязь в распутицу – превращается в глагол, если произносить: «слякоть» Что делать? Слякать. Но, как нужно слякать, какие производить действия? – Бубернаус не знал никогда. Поэтому слякал как мог, как получится и на достигнутом никогда не останавливался.

* * *

«Ничего не видит, не слышит, не знает, не чувствует». Подумал Бубернаус, глядя в зеркало на своё отражение. И стал смотреть дальше.

«Пустота, фантом! Ни добра, ни зла, ни прочей всячины». Подумал Бубернаус, глядя в зеркало на своё отражение. И стал смотреть дальше. «Пора подстричься». Подумал Бубернаус и стал смотреть дальше.

* * *

Однажды Бубернаусу захотелось куда-нибудь пойти. «Хорошо подумай!» Сказал себе Бубернаус. Подумал. Никуда не пошёл и весь день думал: «Хорошо ли он подумал?»

* * *

Онажды Бубернаус вышел из себя, потерял голову, наломал дров, как аукнулся – так и откликнулся, что посеял – то и пожал, но шила в мешке всё равно не утаил.

* * *

Бубернаусу никогда не встречался валяющийся на дороге кошелёк с большими деньгами. Но если встретится – Бубернаус обязательно поищет хозяина, но не найдёт. Тогда Бубернаус все деньги из кошелька раздаст ребятишкам на мороженое, но ребятишек поблизости не окажется. Тогда Бубернаус отдаст все деньги бедной старушке, но бедная старушка на глаза ему не попадётся. Тогда Бубернаус купит на все деньги копчёной колбасы и накормит бродячих собак, но где их искать, Бубернаус знать не будет. И только тогда Бубернаус оставит кошелёк с деньгами себе. Но кошелёк с деньгами на дороге ему пока не попадался.

* * *

Зима. Полночь. Мороз. В призрачном свете полной Луны искрится куржак на деревьях. Во дворе девятиэтажки под окном квартиры Бубернауса притулился старенький «Жигулёнок». Он насторожен

но озирается по сторонам и, убедившись, что нет никого поблизости, перебирает, подпрыгивает, притопывает всеми колёсами. Дряхлый кузов негромко и робко покряхтывает. «Жигулёнок» приседает на задние колеса, задирает в небо капот и смотрит на звёзды оловянно поблескивающими фарами. «Ему не холодно, — думает Бубернаусус, — ему скучно. И он сам себя развлекает».

* * *

Однажды Бубернаусус так много наговорил умного, что как бы получил право — сказать глупость. И сказал... И сделал...

* * *

«Когда-то на свете была совесть?!»
Однажды подумал Бубернаусус.

* * *

Однажды у Бубернаусуса в один день произошли две удивительные встречи. Первая случилась, когда он, простудившись, пошёл к врачу, и по дороге ему встретился некто знакомый.

— Как ваше здоровье? — поинтересовался Бубернаусус из вежливости. А через минуту ему стало казаться, что его знакомый умудрился собрать уникальную коллекцию разнообразных болезней для личного пользования. Он их вылавливает из рекламы, как собака блох. Примеривает на себя, как модница обновки. И, один раз надев, не снимает уже никогда, а сверху последней напяливает новую. Он оброс болезнями, как лопух репьями, и страдает ими одновременно и неизлечимо. А жив до сих пор благодаря всё той же рекламе: из неё он черпает, похоже, большим черпаком о каждодневных новинках панацеи от всех его болячек.

Вторая встреча произошла в кабинете врача.

— Зачем припёрся?! — пробурчал врач, уставившись на Бубернаусуса злыми колючими глазами. — Или ты, дурак, вбил себе в башку, что врач умнее Природы?! Что твой организм без пилюль и притинок, без твоего дурацкого вмешательства с твоими соплями не справится?! Пошёл вон! И чтобы я больше тебя не видел!

* * *

Однажды Бубернаусус почистил ботинки и пошёл сам к себе в гости: он вышел на площадку, позвонил в собственную квартиру, толкнул незапертую дверь и вошёл в прихожую.

— Здравствуй, Я! — сказал сам себе

гость Бубернаусус самому себе хозяину. — Вот шёл мимо и решил...

И тут же подумал: «А врать-то самому себе зачем?»

И вдруг почувствовал, что погостить у самого себя в своё удовольствие не получится.

* * *

«Кто не рискует, тот не пьёт шампанского!» Сказал Бубернаусусу его приятель. «Обойдусь минералкой». Решил Бубернаусус, а приятель рискнул. Но возможности выпить шампанского у него ещё долго не будет.

ЗАВИСТЬ

Торжественное собрание... Стол. Рыже-суконный. Графин с водой. стакан. Это чтобы в случае чего по нему карандашиком брякать. Вон он, карандашик, у председателя профкома Ваньки Дегтярева нервно трепыхается в его мозолистой, так сказать, руке. А чуть что — брякнет по стаканчику: дескать, тише, товарищи! Соблюдайте! И всё такое...

Ванька карандашик в руке успокоил, над стаканчиком чуток замахнул, но брякать передумал. Брякать стал языком. О чём Ванька брякал — Аким Саныч слушать не стал. Как только Ванька свою бескостную трещётку включил — всё, чем слушают и думают, Аким Саныч у себя выключил. Он снаружи замаскировался под глубокое внимание и неприметно улизнул в самого себя. На душе у него сделалось привычно-пусто, а в голове звонко, как если бы Ванька бабахал кувалдой по пустой цистерне. Аким Саныч начал даже нехорошо думать про Ваньку: ишь, дескать, разбабахался, собачий хвост!.. И потому не сразу заметил какой-то бойкий подголосочек. Раз... Другой... Вот опять... Будто между чугунными гугуками — кувалдой — нет-нет, да — этак дробненько молоточком. И вроде со смыслом: будто этот стукаточек для него старается, для Аким Саныча. Лично! Тогда Аким Саныч вынырнул из себя обратно и вник.

А вникнув, он кроме всего прочего увидел кошачье личико пенсионерки Огорюшиной, и так как кошачье личико Огорюшиной на разных собраниях считалось почётным, он вспомнил, что за столом заседает профком, и председатель Ванька кроет его, Аким Саныча по фамилии. Но кроет он не просто так: дескать, есть у нас ещё некоторые, а будто с духом собира-

ется. До полочки попросить или ещё чего-нибудь такого. И тут Аким Саныч прозрел. Вокруг словно молнией высветлило. «Да это же, – ахнул Аким Саныч мысленно, – меня, лично! На пенсию провожают. А прозрев, Аким Саныч увидел, что в президиуме между другими ему не интересными, как пятна на стене, сидит кто-то весь в чёрном и глазами то ли сверлит, то ли мерцает, то ли ещё какую свинью подкладывает. А главное – совершенно незнакомый. «Представитель президента! – осенило Аким Саныча, – медаль будет вручать. А может быть, даже – орден».

На пенсию-то Аким Саныч вышел давно. Так давно, что словно в другой жизни. И в том далёком далеке так же заседал профком, за рыжим столом сидела почетная Огорюхина, теперь уже год как покойница, председатель Ванька страдал и давился, а вот этого чёрного кота, представителя, надо полагать, и в помине не было. Грамота, правда, была. И подарок ценный – отрез. Жена простыню сшила. А медали не было. И – плевать бы, что не было. С медалью чаю не попьёшь, да вот у такого же как он пенсионера Илюхи Горяева, напарника Аким Саныча в дворовой команде по забиванию «козла» по самым въедливым подсчетам и на чих не наработавшего больше, чем он – Аким Саныч, медаль была.

И вот это досадное обстоятельство в счастливой пенсионной жизни Аким Саныча существовало вроде застарелой изжоги. Вот, к примеру, пенсия Аким Саныча превосходит Илюхину на гривенник. Хондроз... Илюху, когда достигнет, в три погибели сгинает, а Аким Саныча наоборот. Прямит, собачья лапа! А подумает Аким Саныч, какой почёт Илюхе оказан, считай, за здорово живёшь, и запечёт у него внутри. Да так, что лучше бы уж скрючило.

И вот теперь, пусть даже во сне, и Аким Саныч знал, что это сон, и был полностью с этим согласен, он не сомневался, что несправедливость будет устранена, и весь распахнулся душой навстречу столь радостному событию.

Сам факт вручения медали или лучше ордена был Аким Санычу до одного места. Будь его воля, он бы выбросил из сна всю эту бодягу с председателем Ванькой, почётной Огорюхиной, представителем – котом в мешке, а незамедлительно при ордене явился бы к Илюхе и показал бы ему большой кукиш-шиш. А посмотреть, как он на это отреагирует, и было для Аким Саныча самым желанным и светлым событием.

– Ну, это самое... наш... ваш... Нам, вам хорошо известный... Это, значит, дядя Акмим, – бубнил председатель Ванька и вдруг ни с того ни с сего побрякал карандашиком по стакану.

«По стакану ты можешь стучать сколько хочешь, – подумал Аким Саныч, – это твоё право, а вот с «дядей» это ты того... Племянничек, собачий хвост. Орден – он требует... И ты, значит, блюди»...

– Тридцать лет бессменно... это... как его... Простоял на посту... – и хотя Ванька чуть не подавился своей речью, Аким Саныч одобрил: годится, дескать, соответствует. Хорошо это – «бессменно» и «на посту».

– Он что, сказал вдруг Чёрный, – постовой? Милиционер, что ли?

– Нёс вахту, – не моргнув поправился Ванька.

– Значит, вахтёр.

– Отсидел...

– А за что?

– Это что же, – Ванька удивлённо уставился на Чёрного, – отработал, выходит?..

– Если – бессменно, – сказал Чёрный, – лет пять, пожалуй, отработал, а двадцать пять вредил, – и вдруг подмигнул Аким Санычу, вредил ведь, а дядя?!

«Вот тебе и орден! – заскучал Аким Саныч. – И голос... Нехорошо-ласковый... Когда спрашивают таким голосом – ответа не требуется».

– Вредил! Вредил, – обрадовался Ванька, – ещё как вредил! Как молодой специалист, он сначала рос. Потом вырос и вскоре перерос. И... Врос! И четверть века – ни туда, ни сюда! – и вдруг нацелил карандашик в Аким Саныча. – Пробка ты! Каучуковая!

Голоса почётной Огорюхиной Аким Саныч никогда не слышал. На разных собраниях она только губы жевала, и теперь, когда заговорила, было это для Аким Саныча так же невероятно, как если бы заговорил графин на этом рыжем столе. Но ещё больше удивило Аким Саныча то, о чём стала говорить почётная Огорюхина:

– Про-о-бка! Кауч-у-ковая! – передразнила она Ваньку. – Да не виноватый он! Да оно же всё кругом пробками позатыкано! Каучуковыми, медными да деревянными. Вот ты, – обратилась она к Чёрному, – когда, говоришь, крепостное право отменено?!

– Труд, он всегда был – труд. А потом стал делом доблести и героизма! – сказал Чёрный и уставился на Аким Саныча, мерцающая и сверлящая.

– Ты его глазищами не прожигай, шибко-то не старайся, – сказала Огорюхина, – он что?.. Сам себе такое накаркал? Тридцать лет сидел на одной должности, как на галере прикованный?!

– А я говорю, – сказал Чёрный, – если бесменная пробка начнёт с себя, то может перестроиться... в затычку. К каждой бочке. А всякая затычка станет себя за дырку выдавать... Это что же тогда будет?!

– А ни хрена не будет, – сказал Ванька, – не было ни хрена, ни хрена и не будет. Ну что, – кивнул он на Аким Саныча, – Грамоту ему выдавать, или как?

«Значит, Грамота!» Опечалился Аким Саныч.

– Я – за! – сказала Огорюхина и подняла руку. Чёрный промолчал, но было видно, что согласился. Ванька положил карандашик на стол, откашлялся в кулак и начал:

– Однажды на Руси отменили «Крепостное право», а он... Ванька уставился на Аким Саныча, – слышь, Чёрный! Его сейчас отпустим, а он опять побежит себе хозяина искать...

– Вручай! – Чёрный протянул Ваньке свиток.

– Значит, на Руси отменили «Крепостное право». Тогда вот его прапрадед, – Ванька кивнул на Аким Саныча, – крепостной мужик, гнувший спину на барщине, получил Свободу. У барина остались лесные угодья, луга, пашни, озёра и реки, а у прапрадеда Аким Саныча – соха, серп и Свобода. Соху и Свободу прапрадед пропил в царском кабаке, а серп оставил в наследство сыну – прадеду Аким Саныча. Этого наследства хватило на два поколения: прадед и дед Акима Саныча были батраками. А когда дед отвоевал в «гражданскую» за свою Свободу – большевики национализировали его серп... и Свободу.

Вот почему наш дорогой Аким Саныч, – продолжал Ванька, – тридцать лет на одном государственном заводе, в одной должности, на одной ему назначенной зарплате. И прописан он в одном городе, на одной улице в казённом доме на казённой жилплощади пожизненно, но – как хозяин лесов, полей и рек своей необъятной Родины – богатством которой по нерадивости своей он не умеет с толком распорядиться!..

– Не тяни! – сказал Чёрный, – осталось три минуты. До первых петухов. Пора сматываться.

– «Отпускная Грамота». Слышь, тебе, дядя Аким! Грамота. А медаль тебе не положена. Вместо медали тебе причита-

ется... – Ванька заглянул в свиток, – свобода... Свобода личности, свобода печати и свобода совести. Получай и владей!

Проснулся Аким Саныч с чувством тяжёлой досады. Личности он в себе не обнаружил, печать ему была не нужна. Мысли в его голове определяло сознание, которое определяло бытие, но словами непечатными. А совести у него никогда не было. Жизнь такая, что не требовалась. А зависть была. Вспомнился ему неопосрамлённый Илюха с медалью, и засвербило привычно, запекло у него внутри. И вот это, глубоко личное, гонит порой Аким Саныча в людные места, где он широко с упоением пользуется самой доступной ему свободой. Свободой орать, не думая.

ПРАДЕДУШКИНА ПЕСНЯ

Дедушка Савелий и его десятилетний правнук Олежка возвращаются из районного центра Окорешниково в свою деревню Мариновку. Ходили сапоги купить Олежке на весну, старые-то вот-вот каши запросят. Да не купили. Большие размеры есть, завезли для механизаторов, а маленьких – пока нету. От этого Олежке немножко грустно. Грустно и деду: зря время потратили. Путь – шесть километров в оба конца – для сельского жителя не длинный, однако по весенней распутице не лёгкий. Весенняя степная дорога для пешей ходьбы – страх, как неудобна. Через какой-нибудь десяток шагов сапоги обрастают тяжеленными галошами из густой жирной грязи – скользкой, как мыло, и липкой, как смола. Конечно, можно бы доехать на попутке – их уже обогнали два молоковоза и колёсный трактор, притко тачивший порожнюю тележку. В степи на попутки проситься не надо, водители, увидев пешехода, сами тормозят: садитесь, дескать, чего ноги мучить?.. Деда с мальцом в попутчики приглашали: и тракторист, и шоферы с обоих молоковозов – отказались. Спасибо, дескать, проезжайте. Сами дотопаем.

Топают помаленьку. Старый да малый. Понятно, что галоши из грязи – штука лишняя, досадная. То и дело приходится сходить на обочину и сдирать их о прошлогоднюю стерню. Но уж больно хороша весенняя степь!

Собственно, степи две. Одна – Олежкина. Вот эта, покато убегающая за горизонт. По-весеннему чёрная, круглая, как сковорода. При всей своей неохватности она не больше дедушкиного двора. Другая старая-престарая, далёкая-предалё-

кая глухая дедушкина степь. И словно видя перед собой её безмолвные суровые просторы, дедушка Савелий выводит дрожащим старческим голосом:

– Степь ды степь круг-о-ом! Путь далёк лежи-и-ит! Ды в той степи глух-о-ой! Дза-амерза-а-ал ямчи-и-ик!

Любит эту песню дедушка Савелий. И поёт он её по-особенному: вдумчиво и негромко. Печалится его чуть-чуть глуховатый голос и словно укоряет кого-то, вопрошает удивлённо и горько: «Что же это, люди?... Как же это так?»

Олежка знает эту песню. И всякий раз, когда поёт её дедушка Савелий, заходится Олежкино сердце от беспомощности, от чувства жгучей и непонятной вины перед чем-то неведомым. Вины, за которую никто никогда не накажет – наоборот, могут по-доброму ласково пожалеть, но от этого делается только ещё хуже.

Льётся дедушкин голос. Хлюпает до рога под его тяжёлыми сапогами. Дедушка Савелий называет её «столбовой». Далека путь-дорога. Невесть откуда пришла она в районный центр Окорешниково, рассекла село пополам, вышла за околицу, побежала по степи в деревню Мариновку, там – дальше... дальше... И не считать, сколько сёл, деревень, городов нанизано на неё, как бусинок на нитку...

А вокруг, как в дедушкиной песне, – степь да степь кругом. Широкая, светлая, с ласковым чистым небом, добрая ко всему живому, и от этого ещё больше делается Олежке за ту глухую суровую дедушкину степь, сжимается в нём сердце в комочек ноющей боли. Дедушка давно кончил песню. Не корит больше, не спрашивает. Вдоль дороги потянуло ветерком. Дохнуло в лицо острым запахом прелой травы.

– Дедушка, – позвал Олежка, – а ты весёлые песни знаешь?

– А как жа!..

– Спой.

Дедушка Савелий, щуря зоркие молодые глаза, задумчиво смотрит в степь. Там у неё на краю зарылось до половины в землю остывающее малиновое солнце.

– А ведь засветло не дойдём, – говорит он невесело.

– Вон мост через Камышинку, – отозвался Олежка, – там я тропинку знаю, спрямим маленько... И вдруг Олежку словно обожгло изнутри.

– Дедушка! – заговорил он торопливо, – дедушка! А как же товарищ?! Ведь он же!.. Как же так?! – Какой – товарищ?

– А что – «товарищ»? Схоронил он его... А как же сам он не замёрз?! Ведь

сам он до жилья добрался! У них же кони были! И сани лишние. Он – тот товарищ – мог бы сжечь их, костёр развести! Отогреть ямчика, привезти к людям!..

Шагает дедушка, молчит озадаченно.

– Врача бы вызвали! – волнуется Олежка, – снегом бы растёрли! Спасли бы!.. Ведь спасли бы, а, дедушка?!

– Экий ты какой, – говорит дедушка неуверенно, – это же песня. Из песни слова не выкинешь!..

НАПАРНИКИ

– Нет, в министры меня не назначат!.. Не назначат ведь. А, Михеич? Руки у Лёшки по локти в мазуте, совсем не министерские. И рожа не министерская, простовато-нахальная. Шутовская рожа.

В работе Лёшка... Тут не отнимешь: талант у парня. Главное, интерес есть, тяга к делу.

Вон у Фёдора напарничек... Ключ в руки берёт – словно пролить боится. Под сорок мужику – всё Васька! Как кот чердачный! А Лёша при всей своей молодости – по хватке мастеровой, у начальства давно – Алексей, и отчество где-то рядышком. Лучшего напарника на сборке двигателей к тракторам Михеичу желать грешно. А вот – язык!

Васька у Фёдора запустит свою бесостную молотилку – всё ясно: не рыжий, не дурак, чтобы больше других, не ишак, у Бога телёнка не кушал. Никакой другой продукции его язык не выдаёт, зато весь товар при Васе. Никому своей болтовнёй он не вредит – себе только. Вроде сам себе блины печёт, и все комом. Сам печёт, сам глотает, а когда на собраниях пещат, сам и давится.

У Михеича с Лёшкой не так. У них что-то вроде разделения труда: «блины печёт» Лёшка, а давится Михеич. От всего, что проходит через Лёшкину «пекарню», остаются обуглившиеся головёшки.

Вот, как-то так уж получилось, что вроде бы ко времени и к месту, скупой на эту тему Михеич обмолвился однажды о войне. Вот именно – обмолвился.

Лёшка рукой махнул: «Вот у маршала Жукова!» И с шутками, с прибаутками обстоятельно объяснил Михеичу, что у него, у Лёшки, совместно с маршалом Жуковым имеется о нём, о Михеиче, обоюдное и во всём согласное мнение. И мнение это хотя и... но и не так, чтобы.

Вот, дескать, ты, Михеич, мужик вроде бы правильный. Малость того... Дак это от лозунгов. Но вот ты, Михеич, воевал, а о

войне я не меньше твоего знаю, а может быть, и больше. Из книг, конечно. Но ведь от самого маршала Жукова. Ты, Михеич, был, говоришь, полковым разведчиком... И наград у тебя – на двух пиджаках едва умещаются. Но ведь не Зорге ты, не герой... Нет, Михеич! Не герой! А был ты, Михеич, на войне вроде этой гайки, которую сейчас закручиваешь. Вот такая «выпечка» получилась. И всё верно: не герой. Михеич и сам про себя это знает. И о войне Лёшке многое известно. Книг о ней хороших и разных – бездна! Да не все, пишущие о войне, испытали её «прелести» на собственной шкуре. Вот он – Лёшка... Такой возьмётся – напишет... Совместно с маршалом Жуковым. Голоден в жизни и двух минут не был, но о блокаде Ленинграда знает. И хорошо, что знает. И что не был, не видел, не испытал – тоже прекрасно. Всё ясно, всё прекрасно! Разжевал? Проглатывай!

– Не выдвинут меня в министры, – балагурит Лёшка. – Слышь, Михеич! Был бы я министром!..

– Хватит болтать! – ворчит Михеич, – министр... Без портфеля!

Михеич чувствует: неспроста Лёшка интригует. Готовит, стервец, подвох какой-нибудь. Он молчит, но долго не выдерживает.

– Ну... министром-то был бы, так – чего?!

– А ничего! – Лёшка отбрасывает гаечный ключ, неторопливо вытирает ветошью руку, – сделал бы я тебя, Михеич, своим заместителем, – он лезет в карман достаёт сигареты, – и откомандировал бы я тебя, Михеич, вот на этот наш завод с почетной, ответственной миссией... Закручивать вот эти самые гайки.

Знает, Лёшка – знает... И о войне знает, и о мире, и о любви, и о дружбе, и о науке и технике. Всё он – Лёшка – знает. И руки у него, где надо приклёпаны, и котелок в технике варит аж бульканье слышно.

Знает, что в слесарях долго не задержится – не для этого в котелке булькает. Так... Что к чему – руками потрогать, и хватит. А дальше – головой: пятый курс на заочном.

А ты, Михеич... Четверть века висит твой портрет на заводской Доске почёта, а сам ты – вроде той гайки, которую сейчас закручиваешь. И почёт у тебя, выходит, гаечный. Вернее – гайка тебе цена. И на вой-

не – гайка тебе цена, и в мире – всё та же гайка...

– Всё, Михеич! Приехали! – глянув на часы, объявляет Лёшка, – делу час подкинули и дело покинули. Настало время потехи. Как ты на счёт потешиться, Михеич?!

Из раздевалки Лёшка вышел статный, уверенный, затянутый в джинсы, красная рубаха под модной курткой, исполосованной «молниями».

– Слышь, Михеич! – Лёшка оглядел мешковатую фигуру, напарника, запакетованную в поношенный темно-синий костюм, подмигнул дурашливо: – Совершенно секретно! Цени, Михеич! Доверяю тебе государственную тайну: «Человек рождён для счастья!». Слышь, Михеич, – «для счастья!» Как птица – для полёта! Вот ты лети, Михеич, и будь счастлив. Тем более – оно у тебя не в деньгах. Нам, Михеич, выпала неслыханная везуха: крутить гайки там, где никто никому ничего не платит, где всё бесплатно. Только ты, Михеич, в вечном долгу. Сколько ты там ещё должен? А, Михеич?!

Домой Михеич идёт пешком. Из окон домов гремит музыка. Напористая, как встречный ветер.

ВСТРЕЧИ

– Здорово!

– Привет!..

Сашка спрашивал у кошки: почему она – кошка? У мухи: почему она – муха? Ни та, ни другая не ответили. К чёрному окну прилип жёлтый лист полумесяца.

– Мама! А почему месяц на землю не падает?

– Спи, радость моя!

– А почему я – радость твоя? И вдруг Сашка почувствовал, что мама светится. Изнутри.

* * *

– Горе у меня!

Он опустился на скамейку, и стало видно, как горе камнем придавило его плечи:

– Жена к другому ушла!..

И горе замутило его глаза. Червонец взял. Но брезгливо: дескать, – какое это сочувствие? По нынешним ценам?..